**Галина Бабак, Александр Дмитриев**

**Отложенное возрождение, или Карты Атлантиды**

Под *нацмодернизмом[[1]](#footnote-1)* как знаком культурной специфики бывших имперских регионов — советских республик 1920-х мы будем понимать единство, зафиксированное и отрефлексированное современниками сочетание художественного модернизма и модерных социально-политических перемен во имя «догоняющего развития» той или иной «новой», «социалистической нации». Важно отметить, что нацмодернизм как явление не был специфически левым, «красным» по своей сути — этот феномен восходил к модернизационным процессам в обществе и в культурном творчестве, которые начались до 1914 года и отразили в себе опыт национального освобождения весны-осени 1917-го и небольшевистских сдвигов 1918–1921 годов. Но именно условия советского проекта в его нэповском и федералистском варианте придали «нацмодернизму» характерные черты и особенности.

Для изучения формальной теории в последние десятилетия, быть может, наиболее перспективными оказались методы, выводящие ее за привычные границы литературности и «метатекстуальных» установок — оптика истории науки, историографического рассмотрения философии или искусствоведения[[2]](#endnote-1). Понимать пограничные, транснациональные явления тоже помогут скорее «чужие» подходы и непрямые аналогии. В истории архитектуры для обозначения специфического стиля 1960–1980-х закрепился термин «соцмодернизм», которому свойственны как наследование межвоенному конструктивизму, так и черты нового идеологически заданного и целостного «проективизма», устремленного в будущее. Понятие «соцмодернизма» / «советского модернизма», выработанное поначалу для восточноевропейского региона, применяется ныне и к особенностям знаковых построек Средней Азии и Закавказья, а также Украины и Белоруссии, но корни этого явления восходят к республиканским версиям «нового искусства» довоенных десятилетий[[3]](#endnote-2).

Однако и без советского «акцента» проблематика украинской литературной культуры вполне встраивается в куда более общий компаративный контекст развития периферийных зон — относительно западноевропейского ядра в 1890–1930-е годы; это касается и идеологии, и литературы[[4]](#endnote-3). Само это ядро тоже не было единым: достаточно вспомнить дебаты о французском регионализме (провансальской литературе, в частности) или о «запоздавшей нации» (Х. Плесснер). Для стран Центральной, Восточной и Южной Европы в межвоенный период были весьма характерны попытки соединить технические и культурные достижения с программами «низовых» национальных и аграрных движений. Украина оказывалась государством нации не только «запоздавшей» (в терминах тех лет «отсталой»), но еще и совсем недавно считавшейся не просто «неисторической»[[5]](#endnote-4), а в конце концов несуществующей, частью общерусской. Отсюда и стремление догнать и перегнать, вместе с лозунгами «красного Ренессанса».

Пожалуй, наиболее известным примером англоязычных исследований феномена «запоздавшего» европейского модернизма является изучение эволюции греческой словесности у Грегори Джусданиса, который предложил эксплицированную модель трактовки национально-литературной идеологии[[6]](#endnote-5). В нашем случае речь идет о своеобразном догоняющем и политически ускоренном развитии словесности (и литературной критики и теории), где каждая из сторон, например интегральные националисты круга Донцова во Львове — а не только большевистское руководство Украины, существенно менявшееся в 1920-е, — претендовала на ***единое***, слитное понимание культурного-идеологического синтеза. Среди новейших исследований стоит, с одной стороны, обратить внимание — вслед за Майклом Дэвид-Фоксом, например, — на постановку и решение общих, глобальных и всеевропейских проблем *Modernity* в рамках большевистского/советского проекта[[7]](#endnote-6). С другой стороны, в новейших работах Галина Тиханова сам формализм рассматривается не только как оппонент марксизма, но и как его своеобразный «родственник», «кузен-соперник», пользуясь знаменитой семейной метафорикой Шкловского насчет «дяди» и «племянника»[[8]](#endnote-7). Наконец, ряд общих штудий Ханса Ульриха Гумбрехта и Сьюзан Фридман посвящены сложным гибридным характеристикам и полицентричности литературного модернизма, адаптирующего авангардные сдвиги 1920-х годов и восполняющего одномерность характеристик сугубо экономической цивилизации[[9]](#endnote-8).

*Нацмодернизм* как специфическое единство культурного обновления и политической революционности первой половины ХХ века оказался феноменом, если угодно спринтерским. «Точка пули в конце» оборвала не только жизнь Маяковского, но и весной 1933 года, в разгар Голодомора – Миколы Хвылевого, известного прозаика и искусного полемиста, лидера украинского «красного Возрождения» (или по его словам «азиатского Ренессанса»). В украинские литературно-политические споры через голову своего посланца Лазаря Кагановича вмешивался во второй половине 1920-х и сам Сталин, лично критикуя Хвылевого и приписывая ему сепаратистский лозунг «Геть от Москвы» (хотя этот искренний до фанатизма большевик думал только о культурной независимости и преодолении «малоросийства» как провинциальности, затверженной вторичности).

Эту историю, протяженностью *всего* в полтора десятилетия (но с длинной «подводкой» с конца 1850-х годов), быстро и непредсказуемо оборвавшуюся для героев, немногие из младших выживших эмигрантов с советским прошлым назовут потом в Штатах, ФРГ и Канаде – когда в СССР настанет время Хрущева – «расстрелянным Возрождением». Теория и история литературы оказались в этих процессах, вопреки марксистским прописям, отнюдь не просто «надстроечным» явлением. Куда более влиятельный, чем Луначарский украинский нарком Скрыпник (он тоже застрелится на несколько месяцев позже нещадно им порицаемого Хвылевого) еще недавно, в годы НЭПа с вершин харьковского политического Олимпа активно включался в споры о периодизации истории украинской литературы. В своих публичных речах и при подготовке энциклопедических изданий Скрыпник настаивал на ее удревнении вплоть до времен Киевской Руси, требовал пересмотра прежнего «централизаторского» канона и выхода украинской словесности, в ее прошлом и настоящем, за былые рамки «провансальства» или же чисто «домашнего употребления», сельской («отсталой») культуры. И для украинских революционеров и для образованнейших культуртрегеров-«неоклассиков» в разгар жарких публичных культурно-политических дебатов 1925-1928 года формальный метод и вопросы «влияния», «автономного ряда», преемственности и инновации становились политически заряженными, а не отвлеченно-методологическими.

Украинский формализм, в отличие от русского, не располагал центром – вроде Опояза – и не оставил своей школы (как в Институте истории искусств). Как и для петроградско-московского круга идей начала 1920-х годов, определяющим оказалось специфическое соединение трех базовых компонентов:

**- академической выучки (ориентира на историческую поэтику, проблематизированный "пушкинизм" или потебнианскую теорию образа),**

**- наследия дореволюционной модернистской эстетической критики,**

**- авангардно-футуристической доктрины, практической оптики «сделанной вещи».**

В остальных нацмодернизмах такого *равновесного* по соотношению элементов синтеза по разным причинам не сложилось. И все же специфическое, неслучайное смешение научного, художественного и социально-идеологического миров, начатое еще до 1917 года в связи с Первой мировой войной, так или иначе было характерно для всех локальных нацмодернизмов на территории Российской империи. Украинский формализм был уникальным, но не единичным феноменом.

1

Важно указать, что хронологически проблема совмещения социальной модернизации и культурного модернизма, как уже не раз было отмечено в книге, выходит за границы советского летоисчисления. Именно украинское национальное движение после 1905 года стало одним из образцов (наряду с финским, польским и еврейским примерами) для строительства и развития схожих автономистских проектов в рамках Российской империи, вплоть до федералистского съезда народов России сентября 1917 года (под патронажем Центральной Рады)[[10]](#endnote-9). Эти проекты напрямую касались вопросов становления национальной словесности, особенно в период Первой мировой войны — при поддержке российских «прогрессистов» леволиберального толка. Далее мы несколько подробней остановимся на специфике белорусского культурного движения, очень кратко упоминая, вероятно, более сложные процессы в Закавказье, Центральной Азии и на Волге после 1917/1922 годов[[11]](#endnote-10).

В культурном аспекте необходимо упомянуть вышедшую в 1915 году в журнале «Украинская жизнь» программную работу «Белорусское возрождение», автором которой был молодой литератор Максим Богданович[[12]](#endnote-11). Умерший в мае 1917 года, признанный вскоре звездой первой величины в становящейся белорусской литературе, он входил в круг авторов этого украинского органа и уже в 1920-е его наследие и собрания текстов внимательно изучал и рецензировал ученик Владимира Перетца Михайло Драй-Хмара, один из ведущих киевских «неоклассиков»[[13]](#endnote-12).

Сопоставление уже в трудах современников 1920-х годов послереволюционных векторов развития белорусской и украинской литературных культур и их политического контекста было, разумеется, не случайным. Еще во времена Евшана, в конце 1900-х годов (в том числе на страницах модернистской «Украинской хаты» и в белорусской «Нашей ниве»[[14]](#endnote-13)), другой рано ушедший из жизни белорусский писатель и критик Сергей Полуян (1890–1910) печатал обзоры «Национальное возрождение чувашей», «Якутское национальное движение», а также обобщающую статью «Культурное значение малых наций»[[15]](#endnote-14).

Особенно важную роль в становлении белорусской литературной теории сыграли ученые, связанные в 1910-е годы с ликвидированным в ходе Первой мировой войны русским Варшавским университетом. Ученые разных поколений, приглашенные в Минск[[16]](#endnote-15) по инициативе ректора нового Белорусского университета историка Владимира Пичеты, — Иван Замотин, Александр Вознесенский, Евгений Боричевский — уже к середине 1920-х печатались по-белорусски и активно занимались проблемами местной литературной жизни и истории.

Особенно интересной в плане интернационального признания была фигура Александра Вознесенского[[17]](#endnote-16) (1888–1966), который печатал статьи о развитии белорусского театрального искусства и на страницах украинского ведущего журнала «Ваплите» (под редакцией Хвылевого)[[18]](#endnote-17). Вознесенский в 1926–1928 годах успел напечатать в Германии и Англии статьи, рассказывающие о новых литературных теориях в бывшей Российской империи (включая содержательный рассказ о формалистах)[[19]](#endnote-18). При этом сам был он близок скорее к неокантианским идеям своего варшавского наставника Александра Евлахова (который долго жил в Баку с середины 1920-х), другого «варшавянина» А.П. Скафтымова (который надолго осел в Саратове), петроградца А. А. Смирнова или Жирмунского[[20]](#endnote-19).

В целом случаи Украины и Белоруссии вместе с центральноазиатскими, тюркоязычными, финно-угорскими и закавказскими национально-литературными движениями 1910–1930-х годов дают до известной степени схожую (хотя, конечно, чрезвычайно варьирующуюся и богатую деталями) картину. Мы можем очень эскизно наметить лишь самые общие ее черты. Первая мировая война и революционная волна 1917–1920-х годов в первую очередь вовлекают в свой круговорот старшее поколение «нацдемовского» толка, к которому очень быстро примыкают младшие силы, более радикальные эстетически и политически настроенные. Часть тех, кто оказался после 1920 года за границей, продолжает линию «национального возрождения» порой в системе более консервативных идеологических координат. Оставшиеся в условиях НЭПа и «переходного периода» оказываются захвачены программой культурной революции с федеративными и антиимперскими лозунгами, включая массовую мобилизацию и выращивание «низовых» местных кадров в организациях левой направленности. Важную роль в укреплении единства новой власти, новой науки и новой литературы играют массовые мероприятия, вроде Тюркологического съезда в Баку (1926) или близких по времени конференций по правописанию в Белоруссии и Украине.

Очень показательны в этом смысле региональная активность ЛЕФа в Одессе (ЮгоЛЕФ), в Казани и взаимодействие с местными национальными организациями, а также подчеркиваемая современниками близость московского «Перевала», белорусского журнала и одноименной группы «Узвышша» в 1927–1929 годах (Владимир Дубовка, Адам Бабареко) с украинской ВАПЛИТЕ[[21]](#endnote-20). Часть организованных или неформальных групп ориентировалась на высокий модернизм и традицию (как Академическая ассоциация/группа в Грузии вокруг вернувшегося из Европы К. Гамсахурдия середины 1920-х годов, Армянское литературное товарищество или киевские «неоклассики») — они были в сложных отношениях с футуристами из более молодых поколений[[22]](#endnote-21).

В плане же теории создаваемые тогда истории национальных литератур тяготели или к «народническому» образцу в духе украинского «народника» Сергея Ефремова (вице-президента Украинской Академии в 1920-е) или к культурно-исторической школе с дополнениями из марксистского социологизма Плеханова. Характерна острая газетная полемика 1922–1923 годов в казанской прессе между Джамалом Валиди, одним из первых историков татарской литературы, с авторитетным левым писателем и критиком Галимджаном Ибрагимовым (позднее, в 1925-1927 годах последний был главой Акцентра Татарского Наркомпроса) о значении наследия в развитии татарской послереволюционной словесности[[23]](#endnote-22). Порой энтузиасты изучения истории национальной литературы (из старшего поколения) занимали крупные посты в период борьбы за независимость, как Никол Агбалян (1875–1947), министр культуры Армении после 1918 года и будущий эмигрант. «Писательские» (как у видного белорусского прозаика Максима Горецкого) и академические, создаваемые филологами в 1910–1920-е, истории *своих* национальных литератур далеко не всегда были выдержаны в едином ключе[[24]](#endnote-23).

Здесь важно отметить горизонтальную мобильность носителей нового типа знания между разными частями империи, которая продолжалась и после гражданской войны, — как у последователя Потебни Петра Бузука (он печатался в Украине, но работал в Минске), украинских искусствоведов, связанных с Закавказьем (собеседник Вяч. Иванова в Баку начала 1920-х Владислав Зуммер, брат футуриста Божидара и автор авангардных журналов Тифлиса Дмитрий Гордеев), так и деятелей футуристического лагеря, особенно Игоря Терентьева, отметившегося и в закавказских группах времен гражданской войны (заумников из «41°»), и в харьковских театральных начинаниях второй половины 1920-х, включая круг «Новой генерации». Литературовед из Казани Габдрахман Сагди (1889–1956) в 1920-е годы занимается и татарской, и узбекской литературой, работая и в Татарии, и в Средней Азии.

«Эстетические теории» в спорах 1920-х явно связывались с «отжившим» дореволюционным наследием (и казались не отвечающими динамичному росту культуры), а футуристическая практика — как у белорусских или тюркоязычных поэтов нового призыва — реализовывалась вне прямой связи с филологией романтических течений, местной академической наукой или московско-петроградским идейным багажом Шкловского, Тынянова и Эйхенбаума[[25]](#endnote-24). Неудивительна в итоге популярность у большинства национальных теоретиков синтетических построений Сакулина или умеренной программы Жирмунского в духе его «Задач поэтики». В более общем плане закономерно, что новый виток культурной революции уже начала 1930-х годов прекратил деятельность большинства описываемых организаций и сообществ. Обвинения коммуниста Атаджана Хашима (1905–1938), лидера созданного в Самарканде во второй половине 1920-х общества писателей «Кзыл калям» («Красное перо») и будущего руководителя Комитета наук советского Узбекистана[[26]](#endnote-25), очень напоминали прежние политические инвективы в адрес Хвылевого и ВАПЛИТЕ. 1930 год стал временем арестов Джамала Валиди в Татарстане (по обвинению в «султангалиевщине») и процесса по делу «Союза освобождения Белоруссии» в Минске; годом позже в Днепропетровске был арестован Игорь Терентьев[[27]](#endnote-26).

Атака на так называемых национал-уклонистов 1920-х, которая порой велась задним числом (немало обвиняемых, вроде Скрипника, сами были правоверными коммунистами и еще недавно преследовали своих идейных врагов внутри партии) не привела во второй половине 1930-х к полной культурной унификации Советского Союза в духе Российской империи[[28]](#endnote-27). В итоге правильнее говорить, вслед за Нариманом Скаковым, о формировании в СССР 1930-х своеобразной постимперской «Культуры Полтора», располагавшейся словно между идеализированными полюсами модели Владимира Паперного — модернистско-плюралистичной Культуры Один и ждановско-соцреалистической Культуры Два[[29]](#endnote-28). Любые «частные» — украинские, белорусские, татарские или, например, чукотские — традиции, включая высокое наследие (вплоть до некоторых элементов модернизма, как у Леси Украинки, или футуризма Маяковского, например), в весьма редуцированном виде должны были составить основу становящейся «советской многонациональной культуры».

Здесь следует сказать несколько слов о том, что составляло, собственно, *русский* нацмодернизм, каким он мог быть в литературно-теоретическом плане. Что происходило с культурным «хартлендом» бывшей империи после 1905 года? Как могло наложиться предполагаемое «русское возрождение» на крах российской империи — в интересующем нас аспекте? Еще Дмитрий Чижевский отмечал поворот многих футуристов, с их специфическим русским культурным национализмом, к поддержке революции, но сама революция была, как правило, лишена на уровне деклараций национально-русских мотивов, которые почти целиком достались противникам большевиков, от эсеров до монархистов[[30]](#endnote-29). Левый, неимпериалистический русский национализм со своей модернистской эстетической программой до гражданской войны в России, по сути, не оформился — если сравнивать с Винниченко, «боротьбистами», идеями киевских «музагетовцев» или Тычины в революционной Украине. Сочетание футуризма с православной традиционностью, которое лидер евразийства Николай Трубецкой с гордостью отмечал в соратнике Петре Сувчинском в начале 1920-х годов, или «левоевразийский» комплекс идей Дмитрия Святополка-Мирского в годы эмиграции — все это тоже не оказалось устойчивым[[31]](#endnote-30).

Интересно отметить терминологическую разницу: попытку скрещения советских идеалов с национально-русской традицией (в духе «скифства») принято именовать *национал-большевизмом* со времен Н. Устрялова, тогда как для разных не- или анти-«московских» национальных версий коммунизма в бывшей империи и вплоть до Тито и Чаушеску закрепилось название *национал-коммунизма*. Первый был не слишком связан со вторым: это относилось и к теоретическим процессам. Так, исследовательница из Германии Вера Фабер справедливо обращает внимание на слабую обратную «слышимость» украинского авангарда в Москве и Ленинграде второй половины 1920-х[[32]](#endnote-31).

В ходе «Великого перелома» общая волна уничтожения очагов хотя бы потенциальной политико-культурной нелояльности, конечно, не миновало и территории РСФСР, коснувшись и русских авторов, и представителей литератур национальных меньшинств[[33]](#endnote-32), включая украинцев (вроде В. Гадзинского, К. Буревого), удмуртов, авторов из Дагестана и так далее. Одной из заметных литературных репрессивных кампаний еще до «Большого террора» были аресты «Сибирской бригады» весной 1932 года[[34]](#endnote-33) — с обвинениями бывших участников нелегальной группы «Памир», вроде поэта Леонида Мартынова, в реабилитации областнических идей и настроений и прославлении колчаковцев, вроде однокашника Ю. Тынянова Георгия Маслова. На первом съезде советских исателей в августе 1934 года бывший «панфутурист» Михайль Семенко отводил душу в кулуарных раз говорах с Бабелем и Бажаном, припоминая прежние жскапады — что стало предметом спецсообщения ОГПУ (разосланого, среди прочих, Ягоде и Агранову):

Все идет настолько гладко, что меня одолевает просто маниакальное желание взять кусок г[ов]на или дохлой рыбы и бросить в президиум съезда. Может быть, хоть это внесло бы какое-то оживление. Разве можно назвать иначе, как не глумлением, всю эту лживую церемонию. Добрая половина людей, сидящих в зале, особенно делегатов нац[иональных] республик, страстно желала бы кричать о массе несправедливостей, протестовать, требовать, говорить человеческим, а не холуйским языком, а ее заставляют покорно выслушивать насквозь лживые доклады вождей о том, что все благополучно. И мы сидим и аплодируем, как заводные солдатики, а подлинные художники слова, борцы за национальную культуру гниют где-то в болотах Карелии и в застенках ГПУ[[35]](#endnote-34).

При этом уже в рамках сталинской модели приоритетам и традициям русской культуры — как прежде «государствообразующей» — первенство оставлялось скорее де-факто, чем де-юре. В этой новой украинской реальности не было не только расстрелянных творцов и ученых: из героев нашей книги республику покинули, боясь преследований, Юрий Меженко, Агапий Шамрай, Иеремия Айзеншток и Абрам Гозенпуд. Из Белоруссии в Москву, а затем в итоге в Казань уехал навсегда Вознесенский (а Замотин остался и погиб наряду с активистами «Узвышша»)[[36]](#endnote-35).

Но сама Украина за двадцатилетие — с середины 1930-х до середины 1950-х (учитывая широко отмеченное в 1954 году 300-летие Переяславской рады как акта «воссоединения Украины с Россией») — радикально поменялась не только под воздействием широких социально-политических кампаний, но и в смысле перемены и расширения границ страны.

2

 Белецкий доживет и до разоблачения «культа личности» на посту директора академического института литературоведения в Киеве. Подобно Эйхенбауму, далеко ушедшему от науки Шкловскому или скорее в стиле увенчанных академическими лаврами Виноградова и Жирмунского в Москве и Ленинграде Белецкий после середины 1950-х будет стараться удержать некоторые теоретические завоевания 1920-х, но о полном возврате к временам нэповского плюрализма, конечно, не могло быть и речи[[37]](#endnote-36). Неслучайно в первые послевоенные годы Шевелев при создании МУРа («Украинского художественного движения»)[[38]](#endnote-37) будет так горячо и резко полемизировать с другим беглым харьковчанином — Владимиром Державиным, отрицая возможность повторения неоклассики, вхождения в ту же благодетельную воду.

3

Почему же Атлантида советского нацмодернизма — в случае украинского формализма — оказалась затопленной и покинутой ее обитателями? И если споры о природе украинского формализма вполне обоснованы, отчего про специфически украинский структурализм говорить все же не приходится?

Про репрессии 1930-х годов и прямое идеологическое давление с проработками, не исчезавшими до середины-конца 1950-х, забывать, конечно, нельзя. И тогда, и позже за повышенный интерес к бывшим неоклассикам, модернистам или даже народникам легко можно было получить ярлык последователя националистических и эмигрантских трактовок «нашего наследия»[[39]](#endnote-38). И в советской России времен оттепели и застоя формализм оставался течением скорее ритуально осуждаемым, но все же авторов его (Тынянова и Эйхенбаума) переиздавали и изучали. А в Украине о формалистических штудиях 1920-х заговорили лишь с конца 1980-х, через тридцать лет после уголовной реабилитации их создателей, а за серьезные исследования взялись, пожалуй, только в XXI веке. Такая задержка оказалось фактором очень серьезным. Ретроспективного феномена вроде «Тыняновских чтений» или мемориальной составляющей Тартуской школы в Украине 1960–1980-х так и не сложилось; гораздо важнее было восстановить и сохранить память о собственно литературных, а не филологических явлениях.

Со второй половины 1950-х, как и в 1920-е, украинская литература и критика оказались художественным способом постановки, осмысления национальных проблем и вопросов. И внимание партии и официальных инстанций относилось, в первую очередь, к молодой поэзии (Иван Драч, Микола Винграновский, Дмитрий Павлычко[[40]](#endnote-39), Лина Костенко), которую далеко не сразу удалось ввести в приемлемые рамки — ругательные ярлыки «формализма» активно использовались высшими аппаратчиками от идеологии в последние хрущевские годы[[41]](#endnote-40). Но и разрешенная работа над наследием канонизированных Тычины, Бажана или Рыльского, реабилитированного Зерова[[42]](#endnote-41) шла в более жестких, чем в иных республиках СССР, условиях.

Дозированное обращение к литературному прошлому советской Украины в подцензурной литературе не могло привести в доперестроечную эпоху к утверждению «гамбургского счета» памяти о 1920-х (не считая искусствоведения с его интересом к наследию «бойчукистов» и уничтоженного авангарда)[[43]](#endnote-42). Гамбургский счет неизбежно вел к диаспорной запрещенной литературе и был просто слишком опасным на фоне преследования терпимых ранее крайностей шестидесятничества и уже масштабных погромных антиукраинских кампаний начала 1970-х.

При всей абсолютной партийности Николая Шамоты, многолетнего преемника Белецкого на посту директора академического Института литературы им. Т. Г. Шевченко, именно при нем в Институте в первой половине 1960-х начинали работать такие известные в будущем диссиденты, как Иван Светличный, Юрий Бадзьо, выдающийся поэт Василь Стус[[44]](#endnote-43). Редактор тома поэзии Драй-Хмары (1969) Виктор Иванисенко, глава институтского отдела теории в 1962–1966 годах, за распространение самиздата и близость к инакомыслящим был в начале 1970-х до времен перестройки отправлен редактором в «Украинскую советскую энциклопедию» и перестал печататься[[45]](#endnote-44). Статьи и книги Иванисенко середины 1960-х характерны стремлением рассматривать общеэстетические проблемы на материале как раз современной литературы и поэзии, в том числе сомнительной для идеологов, чем он весьма походил на ровесников в других республиках, например на Владимира Турбина из МГУ.

Показательны судьбы связанных с диссидентами преследуемых киевских филологов Михайлины Коцюбинской (1931–2011) и Валерия Марченко (1947–1984), внука первого советского ректора Львовского университета. Коцюбинская вместе с Иванисенко были составителями хрестоматии о слове и творческом труде украинских писателей; напечатанные до гонений конца 1960-х ее работы явно дистанцированы от официальной риторики реализма—партийности—народности и нацелены на анализ художественных приемов и методов[[46]](#endnote-45). В. Марченко до первого ареста в 1973 году глубоко занимался наследием Агатангела Крымского, Миколы Зерова, осевшего в Баку ученика Перетца Александра Багрия и азербайджанско-украинскими культурными связями; успел опубликовать ряд работ в подцензурной печати[[47]](#endnote-46). Совсем молодые тогда Александр Парнис или Сергей Белоконь, тогда же в Киеве занимавшиеся историей футуризма, неоклассиков или запретной литературой прошлого, были обречены в Украине времен Шелеста или Щербицкого на существование вне признанных академических институций гуманитарного профиля — также из-за околодиссидентских связей и «ненужных» интересов. Если в Белоруссии республиканской литературной мыслью 1920-х занимались Михаил Мушинский или Владимир Конон (но «гомельская тройка» преследовалась), а схожие работы выходили и по эстетике народов Закавказья[[48]](#endnote-47), то в УССР в начале 1970-х даже недавняя многотомная «История советской украинской литературы» критиковалась за «нечеткость» и отсутствие должной идейной остроты. Структурализм и семиотика в советской Украине, кажется, не могли по совокупности разных условий, политико-идеологических в первую очередь, сложиться в выделенное направление[[49]](#endnote-48).

Показательно раздвоение эстетического и политического в середине 1960-х, времен расцвета структурализма, при апелляции к наследию 1920-х: в Мюнхене Дмитрий Чижевский публикует в 1966-м две работы о «реальных истоках» и исторической родословной формального метода[[50]](#endnote-49), а в Киеве осенью, за год до этого, после первой волны арестов, литературный критик Иван Дзюба создает и отправляет в ЦК КПУ известный в будущем трактат «Интернационализм или русификация». В этом труде Дзюба апеллировал к «ленинским нормам» и политике украинизации 1920-х как образцу подлинно коммунистической политики[[51]](#endnote-50). А Чижевский критикует книгу Владимира Эрлиха и моду на формализм, показывая укорененность формализма в русской критике 1910-х, и обращает внимание на длинную барочную родословную ключевого формалистского понятия остранения, видя его истоки в фигуре «негативной аллегории». Но что общего между этими двумя полюсами?

Общим, вероятно, был сюжет отложенного признания: статьи Чижевского остались, по сути, не прочитаны (несмотря на публикацию в коллективном труде группы «Поэтика и герменевтика»); Дзюбу в начале 1970-х после ареста заставляют публично отречься от своих взглядов, хотя резонанс его объявленными антисоветскими идей уже оказался весьма широк. Чижевский возвращается в Украину работами о национальной литературной и философской традиции, а не придирчивой критикой / углублением формализма или теорией культурных эпох конца 1940-х. Дзюба на полтора десятилетия отходит от прямой политики и пишет именно о советском литературном интернационализме, об армянских писателях (сохраняя под маской «раскаявшегося националиста» вполне федералистские интересы устремления)[[52]](#endnote-51). Интересный момент — наследие Белецкого (как идеи Потебни в имперско-национальном контексте) обнаруживает уже в 1970-е годы свою характерную двойственность: к нему апеллируют и официозный Юрий Барабаш в Москве в споре с московско-тартуским структурализмом как очередным «ученым сальеризмом», и Иван Дзюба, ставший после 1991 года министром культуры и академиком НАН Украины[[53]](#endnote-52).

Узнав о смерти Белецкого летом 1961 года, Юлиан Оксман откликнулся в письме бывшему киевлянину Николаю Гудзию горьким замечанием, вспоминая недавнюю последнюю встречу с харьковским профессором и киевским академиком:

Он был уже тогда не то что очень больным, но до конца опустошенным человеком. Его, конечно, не могла не тяготить его роль — декоративного академика и патентованного глашатая газетных истин, которым пользовались на Украине только как ширмой. Никаким *подлинным* авторитетом (или весом?) он в тех кругах, которым подчинил свою жизнь, конечно, не пользовался, хорошо это понимал, но уж выйти из привычной колеи, обеспечивавшей ему «стол и дом» в необходимых ему бюджетных формах, не мог. Замечательный человек, умный, тонкий, высокообразованный филолог, он давно разменялся на мелочи и отписки — и ушел из жизни, не отмеченный объявлением о кончине его даже в «Правде»… Жестокие люди у нас управляют и жизнью и смертью своих слуг[[54]](#endnote-53).

В украинской филологии времен застоя для большинства представителей старших поколений при обращении к собственным истокам сработал сценарий до смерти испуганного Мукаржовского[[55]](#endnote-54), а не «архивариуса» Харджиева. Роману Якобсону разрешали после 1956 года приезжать в СССР, в частности, в Эстонию к Лотману по многу раз. Ни о чем подобном в отношении Чижевского (его хотя бы разрешалось упоминать), Шевелева (которому каждый раз могли бы напомнить поведение в Харькове при немцах) и думать было невозможно. Никакой «третьей волны» эмиграции времен застоя — бытовой или академической — в украинском случае тоже не было.

Случайно уцелевшим младшим участникам литературных битв 1920-х была уготована нелегкая судьба. Самоубийство немолодого Григория Майфета в Сибири, отказ печатать прозу и критические труды вернувшегося из лагерей Бориса Антоненко-Давидовича (в отместку за связь с диссидентами) — он ярко дебютировал еще в 1920-е в круге Хвылевого и Пидмогильного — стали наглядными признаками блокировки «нежелательной» памяти[[56]](#endnote-55). Мир украинского литературоведческого модернизма 1920-х открылся поздним наследникам только в новых идеологических условиях перестройки, когда по-новому стали писать об украинской литературе такие разные авторы, как Соломия Павлычко, Тамара Гундорова, Вячеслав Брюховецкий, Леонид Ушкалов и их соратники.

Отложенность нового «Ренессанса» предопределила главную его особенность: он не был уже «красным», и вдохновители его охотнее апеллировали к идеям и образам XIX века, а не коммунистическим идеалам 1920-х, подобно тому, как в Москве тогда же за пару-тройку лет Столыпин оказался важнее и насущней Бухарина. Этот же отрефлексированный или прямо-грубоватый пафос *возвращения к истокам*, минуя шестидесятническую ностальгию по коммунистическим миражам 1920-х, был характерен для всех версий освобождения от «советской империи». Такой характерный для конца ХХ века пафос закрыл вход в мир идей и поступков 1920-х не менее надежно, чем сусловская цензура послесталинских времен.

4

Александр Потебня и археолог-разведчик Виктор Петров — первый и последний герой нашей книги в чем-то схожи, рифмуются рисунком судьбы: в биографии каждого был взлет надежд на общий культурно-национальный порыв, время интенсивного творчества и последующая долгая жизнь в условиях спада, жестких цензурных рамок и преимущественно позитивистской «экстенсивной» работы. Между этими историями жизней помещается история *сдвига* — развития научного метода (формализма) и политической революции в их противоречивом сопряжении.

В качестве возможного ответа на вопрос «А существовал ли *действительно* украинский формализм?» можно сказать следующее: украинский формализм как общее течение существовал, но без складывания особой и более-менее единой украинской *формальной школы*. Здесь еще раз важно отметить, что в контексте раннесоветской идеологической ситуации в Украине формальный метод был ориентирован не на обновление литературоведения как такового, но подчинен принципиально другой и более масштабной задаче, которую не могли ставить в таком объеме российские опоязовцы времен НЭПа — делу «модернизации» национальной культуры. Формализм в России и перетолкование его в Украине — вещи не одинаковые. Теория культурного трансфера способна пояснить многое в истории отношений русского формализма и украинского, но история последнего не сводится к просто рецепции идей ОПОЯЗа и Жирмунского с вариациями на заданные ими темы. Русский формализм как литературная теория, как мировоззрение находится в ряду универсалистских концепций, характерных для эпохи модерности (вместе с марксизмом, фрейдизмом и проч.).

Основной идеей формализма было то, что существует «универсальный ключ» к пониманию литературы — она должна быть истолкована через феномен остранения, через изменчивую от контекста к контексту «перезагрузку» литературности. В Украине же максимально общие «рецепты» формализма использовались для формирования новой национальной советской украинской литературы, своего обновленного литературного канона и в итоге для конструирования украинской национальной идентичности. Универсализм украинскими авторами понимался либо как синоним коммунистической всемирности (авангардисты, сторонники Хвылевого), либо как псевдоним «всемирного культурного наследия» (соратники Белецкого, неоклассики). Ретроспективный взгляд на украинский формализм отчасти напоминает случай польский. И в Украине, и в Польше выбор делали в пользу более умеренного варианта относительно авангардного ОПОЯЗа, с бóльшим вниманием к философским, психологическим или даже социологическим «расширениям» и синтезам[[57]](#endnote-56).

Элегическое понятие руины в связи с деятельностью институций 1920-х годов, кажется, становится важной операциональной метафорой[[58]](#endnote-57) вместо неизбежных и необходимых надежд конца ХХ века на «возрождение» или «возвращение» утраченного, различных проектов неоформалистского плана. Так или иначе, исчезнувшее не равно забытому.

Мы надеемся, что наш труд окажется полезен для разметки контуров и постижения захватывающей внутренней жизни этой многообразной и неисчерпаемой Атлантиды.

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Депретто К.* Формализм в России: предшественники, история, контекст. М.: Новое литературное обозрение, 2015; Эпоха «остранения». Русский формализм и современное гуманитарное знание: Коллективная монография. М., 2017; и др. [↑](#endnote-ref-1)
3. *Crowley D.* Socmodernism and the architecture of leisure in Eastern/Central Europe in the 1960s and 1970s // Different modernisms, different avant-gardes: problems in Central and Eastern European Art after World War II / Helme S (ed.) Proceedings of the Art Museum of Estonia, Tallinn, 2009. Р. 246–258; *Bykov O., Gubkina Ievg.* Soviet Modernism. Brutalism. Post-Modernism Buildings and Structures in Ukraine 1955–1991. Berlin, 2019. [↑](#endnote-ref-2)
4. См. материалы хрестоматии: Modernism: The Creation of Nation-States: Discourses of Collective Identity in Central and Southeast Europe 1770–1945: Texts and Commentaries / Ed. A. Ersoy et al. Volume III/1. Budapest: Central European UP, 2010. [↑](#endnote-ref-3)
5. Украинские социалисты начали справедливо поправлять и классиков марксизма за их гегельянское разделение наций на прогрессивные и реакционные — как Роман Роздольский (1898–1967), активный деятель троцкистского крыла Компартии Западной Украины в конце 1920-х, ставший затем знаменитым марксоведом: *Прокопович Т. [Роздольский Р.]* Фрідрих Енгельс про Україну // Червоний шлях. 1927. № 7–8. С. 161–186; более развернуто: *Rosdolsky R.* Engels and the «Nonhistoric» Peoples: the National Question in the Revolution of 1848. Glasgow: Critique books, 1987 (написана в 1948, напечатана по-немецки в 1964 году). [↑](#endnote-ref-4)
6. *Jusdanis G.* Belated modernity and aesthetic culture: Inventing national literature. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1991. [↑](#endnote-ref-5)
7. ##  *Дэвид-Фокс М*. Модерность в России и СССР: отсутствующая, общая, альтернативная, переплетенная? // Новое литературное обозрение. 2016. № 140. С. 19–44 (и материалы обсуждения этой статьи).

 [↑](#endnote-ref-6)
8. *Tihanov G.* The Birth and the Death of Literary Theory. Regimes of Relevance in Russia and Beyond. Stanford, California: Stanford UP, 2019; *Тиханов Г.* Заметки о диспуте формалистов и марксистов 1927 года // Новое литературное обозрение. 2001. № 50. С. 279–286. [↑](#endnote-ref-7)
9. *Гумбрехт Х. У.* В 1926: жизнь на острие времени. М.: Новое литературное обозрение, 2005; *Friedman S. S.* Definitional excursions: the meanings of modern / modernity / modernism // Disciplining Modernism / Ed. by P. Caughie. London: Palgrave Macmillan, 2009. Р. 11–32. [↑](#endnote-ref-8)
10. См. общий очерк: *Тарасов К.А.* Антиимперская революция. Национальные окраины и распад Российской империи // Неприкосновенный запас. 2017. № 5 (115). С. 150–164. [↑](#endnote-ref-9)
11. Исторический контекст некоторых региональных процессов представлен в книгах: *Hirsh F.* Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union. Ithaca, NY: SUNY, 2005; *Ubiria G.* Soviet nation-building in Central Asia: the making of the Kazakh and Uzbek nations. London: Routledge, 2015. *Goff K. A.* Nested Nationalism: Making and Unmaking Nations in the Soviet Caucasus. Ithaca: Cornell UP, 2021. [↑](#endnote-ref-10)
12. *Богданович М.* Белорусское возрождение // Украинская жизнь. 1915. № 1. С. 50–64; № 2. С. 53–61. О белорусском национальном движении в целом см.: *Rudling P. A.* The rise and fall of Belarusian nationalism, 1906–1931. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2015. [↑](#endnote-ref-11)
13. Драй-Хмара также перевел сборник Богдановича «Венок» со своим предисловием и писал о Янке Купале. [↑](#endnote-ref-12)
14. «Наша Нива» (бел. «Наша ніва») — ежемесячная белорусская общественно-политическая и литературная газета, объединившая национально ориентированную интеллигенцию. Основана в 1991 году. [↑](#endnote-ref-13)
15. *Палуян С.* След, вечна жывы Творы. Успаміны. Прысвячэнні. Даследаванні / Каментар Т. Кабржыцкай, В. Рагойшы. Мінск: Кнігазбор, 2018. [↑](#endnote-ref-14)
16. В эту группу минских «варшавян» входил (вскоре навсегда уехавший в Баку после столкновения с белорусскими властями) Александр Евлахов, автор масштабного дореволюционного труда о методах изучения литературы, изданного в Варшаве: *Евлахов А. М.* Введение в философию художественного творчества: Опыт историко-литературной методологии. Т. 1–2. Варшава, 1910–1912; Т. 3. Ростов-н/Д., 1917. См. о нем ряд работ Елены Тахо-Годи и Тихона Чернякевича. [↑](#endnote-ref-15)
17. См.: *Шумейко М. Ф.* Русский белорусский литературовед (К 130-летию со дня рождения А. Н. Вознесенского) // Проблемы славяноведения. Брянск, 2018. Вып. 20. С. 176–200; *Чарнякевiч Ц. В.* Аляксандр Вазнясенскi i Янка Купала. Да праблемы рэцэпцыi творчасцi Песняра // Роднае слова. 2012. № 6. С. 15–20. [↑](#endnote-ref-16)
18. См.: Хронiка // Вапліте. 1927. № 1. С. 149. [↑](#endnote-ref-17)
19. *Voznesenskij A.* Die Methodologie der russischen Literaturforschung in den Jahren 1910–1925 // Zeitschrift für slavische Philologie. 1927. Bd. 4. № 1/2. S. 145–162; *Voznesensky A.N.* Problems of Method in the Study of Literature in Russia // The Slavonic Review. 1927. Vol. 6. № 16. P. 168–177. [↑](#endnote-ref-18)
20. *Вознесенский А. Н.* Проблема «описания» и «объяснения» в науке о литературе // Родной язык в школе. 1926. № 11/12; *Он же*. Поиски объекта (к вопросу об отношении метода социологического к формальному) // Новый мир. 1926. № 6; *Он же.* Поэтика М. Богдановича. Ковно, 1926; *Он же.* Поэмы Янки Купалы. Минск, 1927. [↑](#endnote-ref-19)
21. См.: Уладзімір Дубоўка: ён і пра яго / Укладанне, прадмова, каментарыі Г. Севярынец. Мінск: Лімарыус, 2017. Об общем историческом контексте: Перед крутым поворотом. Тенденции в политической и духовной жизни Беларуси (1925–1928 гг.): отражение времени в архивных документах / Авт. и сост. Р. П. Платонов и др. Минск: БелНИИДАД, 2001. [↑](#endnote-ref-20)
22. *Чилая C.* В первое советское десятилетие: Процесс литературной жизни Грузии в 1920-е годы. Тбилиси 1982; *Закарян А.* Новые литературные течения в Закавказье (По материалам прессы 10-х годов ХХ в.) // Историко-филологический журнал. [Ереван], 2004. № 3. С. 21–50; *Ram Harsha*. Introducing Georgian Modernism, and Decadent Nationalism, “Peripheral” Modernism: The Georgian Literary Manifesto between Symbolism and the Avant-garde // Modernism / Modernity. 2014. № 1. Р. 283–359; *Плунгян Н.* Голубые роги под пролетарской маской на выставке «Левее левизны. Грузинский авангард в книге» // https://www.colta.ru/articles/art/21538-golubye-rogi-pod-proletarskoy-maskoy (по мотивам книги Павла Чепыжова: *Chepyzhov P*. New Georgian Book Design, 1920s-30s. Warsaw. 2018) и т. д. [↑](#endnote-ref-21)
23. *Загидуллина Д.Ф.* Литературные законы и время (Возникновение и этапы развития теории татарской литературы). Казань: Татарское книжное издательство, 2000. [↑](#endnote-ref-22)
24. Помимо острых смешений ранее несходных планов (научного, литературного, восточно-экзотического) в биографиях Шкловского или Е. Поливанова укажем на литературные стороны биографии экономиста и математика Георгия Артемовича Харазова (1877–1931), выходца из обрусевшей армянской семьи, активного участника тифлисской литературной жизни конца 1910-х годов. Его статью «Сон Татьяны» (Опыт толкования по Фрейду) (Ars. Тифлис, 1919. № 1. С. 9–20) в числе немногих серьезных литературоведческих работ в духе психоанализа довольно сочувственно упоминал в обзоре по изучению Пушкина Б. Томашевский в середине 1920-х. См.: *Гречко В.* Между локальным и универсальным: грузинский авангард 1910–1920-х годов // Slavistika. 2017. № 32. С. 247–257. Занимался Харазов и теорией звукописи применительно к античным авторам. [↑](#endnote-ref-23)
25. На материале Тифлиса очень проницательно очерчены несходства модернизма и авангарда рубежа 1910 и 1920-х годов в выступлении Заала Андроникашвили «Tbilisi as Cosmopolis» (на представительной конференции «Inherit the World. Strategies of *translatio* in the Soviet Literary Cosmopolis» 27 мая 2021 года в Берлине. [↑](#endnote-ref-24)
26. *Baldauf I*. Educating the poets and fostering Uzbek poetry of the 1910s to early 1930s // Cahiers d’Asie centrale. 2015. № 24. Р. 183–211 (особенно р. 191–193); *Германов В. А.* Профессор Пулат Салиев и его время (жизнь и трагедия основателя узбекской исторической школы). Ташкент: Фан, 2002. C. 33 и след. [↑](#endnote-ref-25)
27. См.: Следственное дело Игоря Терентьева (1931) / Публ. С. В. Кудрявцева; вступ. ст. и примеч. Н. А. Богомолова и С. В. Кудрявцева // Минувшее: исторический альманах. М.; СПб., 1995. № 8. С. 533–608. [↑](#endnote-ref-26)
28. Идея прогресса или новой коммунистической глобальности и в 1920-е и в первой половине 1930-х была сильней будущего принципа самодостаточности: Comintern Aesthetics / Glaser A. M., Lee S. S. (ed.). Toronto: University of Toronto Press, 2020. [↑](#endnote-ref-27)
29. *Скаков Н.* Культура Полтора // Новое литературное обозрение. 2020. № 1 (161). С. 104–123. [↑](#endnote-ref-28)
30. *Чижевский Д.* Поэзия русского футуризма // Новый журнал. 1963. № 73 (цит. по: *Надъярных Н. С.* Дмитрий Чижевский. Единство смысла. М.: Наука, 2005. С. 316, 317). [↑](#endnote-ref-29)
31. Исключением могут считаться как раз «Скифы» и «новокрестьянские» авторы — модернистские истоки их доктрин стали предметом исследования в работах И. Шевеленко, Я. В. Леонтьева, а также М. Агурского: *Шевеленко И*. Модернизм как архаизм: национализм и поиски модернистской эстетики в России. М.: Новое литературное обозрение, 2017 *Леонтьев Я. В.* «Скифы» русской революции. М.: АИРО–XXI, 2007.. [↑](#endnote-ref-30)
32. *Faber V.* Die ukrainische Avantgarde zwischen Ost und West. Bielefeld: Transcript, 2019. S. 243–249 (глава: «Zur Wahrnehmung der ukrainischen Avantgarde in Russland»). [↑](#endnote-ref-31)
33. Пермские литературы в контексте финно-угорской культуры и русской словесности / Науч. ред. Т. А. Снигирева, Е. К. Созина. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016; *Куликов К. И.* Дело СОФИН. Ижевск, 1997. [↑](#endnote-ref-32)
34. *Поварцов С. Н.* Вакансия поэта // Сын Гипербореи: Книга о поэте / [Отв. ред. С. Н. Поварцов]. Омск, 1997. С. 53–92; *Куняев С. Ю.* «Огонь под пеплом (дело “сибирской бригады”)» // Наш современник. 1992. № 7; *Гольдфарб С. И.* Террор против свободы: эпоха охоты на литераторов // Известия Иркутского государственного университета. Серия: Политология. Религиоведение. 2018. Т. 23. С. 90–101. [↑](#endnote-ref-33)
35. Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) — ВКП(б), ВЧК — ОГПУ — НКВД о культурной политике. 1917–1953 / Сост. А. Артизов, О. Наумов. М.: МФД, 1999. С. 233–234. [↑](#endnote-ref-34)
36. Вознесенский вместе с Перетцем был арестован и отправлен в ссылку по итогам «дела славистов» в середине 1930-х годов. В Казани докторскую диссертацию Вознесенский написал про белорусскую литературу. Схожим с судьбой Шевелева оказался путь одного из авторов «Узвышша» Антина Адамовича, который после 1941 года ушел из оккупированного Минска вместе с немцами и в 1950–1970-е публиковал важные работы по истории недавней белорусской литературы, выдержанные в весьма антисоветском духе. [↑](#endnote-ref-35)
37. *Білецький О.* Літературознавство і критика за 40 років Радянської України // Білецький О. Зібр. праць. Т. 3. С. 49–70 (и отдельный очерк он же посвятил литературоведению в родном Харьковском университете); ср.: *Тоддес Е. А.* Б. М. Эйхенбаум в 30–50-е годы (к истории советского литературоведения и советской гуманитарной интеллигенции) // Тыняновский сборник. ХІІ Тыняновские чтения М., 2002. С. 563. [↑](#endnote-ref-36)
38. МУР (укр. «Мистецький український рух»; 1945–1948) — организация украинских писателей-эмигрантов, проживавших в лагерях для перемещенных лиц (DP) в Германии. МУР был создан в г. Фюрт недалеко от Нюрнберга по инициативе комитета, куда входили Ю. Шерех-Шевелев, В. Петров, И. Багряный, Ю. Косач, И. Костецкий, И. Майстренко. Целью организации было объединение художественных сил в эмиграции, дискуссии о модернизации украинской культуры и литературы. Организацию возглавлял писатель Улас Самчук.. [↑](#endnote-ref-37)
39. Про перекручення і помилки у висвітленні історії української літератури в «Нарисі історії української літератури». З Постанови ЦК КП(б)У від 24.08.1946 // Радянське літературознавство. 1947. № 7. С. 3–5. См. подробнее: *Хархун В. П.* Соцреалiстичний канон в українськiй лiтературi: генеза, розвиток, модифiкацiї. Нiжин: ТОВ «Гiдромакс», 2009. [↑](#endnote-ref-38)
40. Дмитро Павлычко был энтузиастом творчества выдающегося львовского модерниста предвоенных времен Богдана-Игоря Антоныча и много сделал для популяризации наследия этого поэта в 1960-е годы в советской Украине и, в частности, для выхода его сборника под «атниклерикальным» заглавием: *Антонич Б.-І.* Пісня про незнищенність матерії: Поезії / Упор., вступ. ст. і прим. Д. Павличка. К.: Радянський письменник, 1967. [↑](#endnote-ref-39)
41. *Гнатюк О.* Шістдесятники. Долі та ролі // *Гнатюк О.* Між літературою і політикою. Есеї та інтермедії. К.: Дух i лiтера, 2012. С. 24–26. До советской Украины, помимо антологии «Растрелянное Возрождение» Юрия Лавриненко, дошла важная книжка Ивана Кошеливца с обзором новейших литературных публикаций: *Кошелiвець I.* Сучасна лiтература в УРСР. Мюнхен: Сучаснiсть, 1964. [↑](#endnote-ref-40)
42. «Слишком частое» поминание Зерова в литературной периодике середины 1970-х совершенно не поощрялось. См.: *Брюховецький В. С.* Factum est factum. Біобібліографія. К.: Києво-Могилянська академія, 2010. С. 136. [↑](#endnote-ref-41)
43. Об украинском шестидесятничестве см.: *Касьянов Г.* Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-80–х рр. К.: Либідь, 1995; *Bellezza Simone Attilio*. The Shoreof Expectations: A Cultural Study of the 'Shistdesiatnyky'. Edmonton: CIUS Press, 2019.

Нужно особенно отметить мемуарную трилогию видного писателя Юрия Смолича (1900–1976) «Рассказ о непокое» (укр. «Розповідь про неспокій», 1968–1972), которая вышла в свет с явными «фигурами умолчания» (вроде Хвылевого) и была схожа с воспоминаниями Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь» (которые были напечатаны примерно в те же годы в весьма отредактированном виде и с рядом существенных купюр). [↑](#endnote-ref-42)
44. Свитличный был учеником Белецкого и работал ответственным секретарем главного отраслевого журнала. См. теплые воспоминания о нем и его круге многолетней сотрудницы Института, близкой к диссидентскому движению: *Кириченко С.* Люди не зі страху. Українська сага: спогади / Перед. сл. Ю. Бадзьо. К.: Смолоскип, 2013. [↑](#endnote-ref-43)
45. *Коваль В*. «Давайте поговоримо відверто...» «Персональна справа» члена Спілки письменників України Віктора Іванисенка // Дніпро. 1991. № 10; *Іванисенко В.* Михайло Драй-Хмара // Письменники Радянської України: 20–30 роки: Нариси творчості. К.: Радянський письменник, 1989. С. 235–263. [↑](#endnote-ref-44)
46. *Коцюбинська М.* Образне слово в літературному творі: Питання теорії художніх тропів. К.: Вид-во АН УРСР, 1959; *Коцюбинська М.* Література як мистецтво слова. К.: Наукова думка, 1965. После 1989 года ее исследования были посвящены жанровым особенностям писательского эпистолярия и дневника. [↑](#endnote-ref-45)
47. Эти работы собраны в томе: *Марченко В.* Творчість і життя / Упор. Н. Служаниця-Марченко, Н. Кочан. К.: Сфера, 2001. С. 13–63. [↑](#endnote-ref-46)
48. *Конан У. М.* Развіцце эстэтычнай думкі ў Беларусі (1917–1934 гг.) Мінск: Навука і тэхніка, 1968; *Мушынскі М. І.* Беларуская крытыка і літаратуразнаўства, 20–30-я гг. Мн., 1975. О белорусских шестидесятниках см.: *Astrouskaya T.* Cultural Dissent in Soviet Belarus. Intelligentsia, Samizdat and Nonconformist Discourses. Wiesbaden: Harrassowitz, 2019. [↑](#endnote-ref-47)
49. Характерно, что из московских коллег особенно теплые отношения в 1950-е годы связывали Белецкого с историком античной мысли А. Лосевым, с 1920-х годов пытавшимся строить не-структуралистскую эстетику. См.: *Тахо-Годи А. А.* Лосев. М.: Молодая гвардия, 2007. С. 214–220 (см. главу 4). Приносим признательность белорусскому филологу Александре Федуте, неутомимому продолжателю связанной с Белецким линии «изучения истории читателя», который обратил наше внимание на этот немаловажный эпизод. [↑](#endnote-ref-48)
50. *Tschižewskij D.* Wiedergeburt des Formalismus? In Welcher Art? // Immanente Ästhetik. Ästhetische Reflexion / Wolfgang Iser (Hg.). Muenchen: W. Fink Verlag, 1966. S. 297–305; *Tschižewskij D.* Nachtrag: Bemerkungen zur “Verfremdung” und zur “negativen Allegorie” // *Tschižewskij D*. Kleinere Schriften. München, 1972. Bd. II.: Bohemica. S. 140–144. [↑](#endnote-ref-49)
51. О «возвращении к ленинским нормам» в украинской оттепели: *Dobczansky M.* Rehabilitating a Mythology: The Ukrainian SSR’s Foundational Myth After Stalin // Nationalities Papers. 2019. Vol. 47. № 3. С. 366–378. [↑](#endnote-ref-50)
52. С литературами советских республик (Армения, Литва, Узбекистан) был связан и начинавший в Киеве как переводчик Уайльда Александр Дейч, хорошо знавший Рыльского и Тычину еще по 1917–1920 годам. См.: «Между сердцем и временем»: воспоминания об Александре Дейче. К.: Феникс, 2009. [↑](#endnote-ref-51)
53. *Барабаш Ю. Я.* Вопросы эстетики и поэтики. 3-е изд. М., 1978. С. 370–393; *Дзюба І.* Білецький і Потебня (Ідеї О. Потебні у працях О. Білецького; Читач як естетична проблема у працях Олександра Білецького) // *Дзюба І.* З криниці літ. К.: Києво-Могилянська академія, 2006. Т. 2. [↑](#endnote-ref-52)
54. Переписка Ю. Г. Оксмана и Н. К. Гудзия (1930–1965) / Вступ. ст., подгот. текста и комм. М. А. Фролова // Русская литература. 2021. № 1. С. 35 (письмо от 9 августа 1961 года). [↑](#endnote-ref-53)
55. После Второй мировой войны Ян Мукаржовский признает структурализм и свою деятельность в Пражском лингвистическом кружке «ошибкой» и вступает в КПЧ, что позволило ему стать ректором Карлова университета в 1948 году и оставаться на этой должности до 1954-го. В 1948-м он также подписал призыв прокоммунистической интеллигенции «Вперед, назад ни шагу», поддержав таким образом, приход коммунистов к власти. См. *Sládek O.* Jan Mukařovský. Život a dílo. Brno: Host, 2015; *Steiner P.* From structuralism to Marxism (and Back?): Jan Mukařovský 1945–1963 // Studies in East European Thought. 2020. Vol. 72. P. 1–18. [↑](#endnote-ref-54)
56. *Антоненко-Давидович Б*. Прочитайте после моей смерти. Львов: Каменяр, 2002; *Антоненко-Давидович Б*. Смерть; Сибирские новеллы; Завышенные оценки. М., 2005; *Бойко Л.* З когорти одержимих: Життя і творчість Бориса Антоненка-Давидовича в літературному процесі ХХ століття. К.: КМ Академія, 2003. [↑](#endnote-ref-55)
57. *Karcz A.* The Polish Formalist School and Russian Formalism. Rochester: University Rochester Press, 2002. Мы весьма признательны Галину Тиханову за обсуждение этой очень важной параллели. [↑](#endnote-ref-56)
58. Синтез современности. Руины ГАХН и постдисциплинарность / Под ред. Н. Сазонова и А. Хенниг. М.: Изд-во Института Гайдара, 2021. [↑](#endnote-ref-57)